

# К истории политической рефлексии

Ирина Паперно

## «Это даже не блокада и не осада. Это простой, обыденный советский день»:

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ЗАПИСКИ ОЛЬГИ ФРЕЙДЕНБЕРГ  
КАК МИФОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Irina Paperno

“This Is Not Even the Blockade or a Siege. This Is an Ordinary Soviet Day”:  
Olga Freidenberg’s Postwar Notes as a Mythopolitical Theory

**Ирина Паперно** (Университет Калифорнии, Беркли, почетный профессор кафедры славянских языков и литератур; PhD) ipaperno@berkeley.edu.

**Irina Paperno** (PhD; Professor Emerita, Department of Slavic Languages and Literatures, University of California, Berkeley) ipaperno@berkeley.edu.

**Ключевые слова:** Ольга Фрейденберг, история филологии, наука и идеология, ЛГУ, мемуары, дневники, политическая теория

**Key words:** Olga Freidenberg, history of philology, scholarship and ideology, Leningrad State University, memoirs, diaries, political theory

УДК: 929

DOI: 10.53953/08696365\_2022\_178\_6\_7

UDC: 929

DOI: 10.53953/08696365\_2022\_178\_6\_7

В статье анализируются послевоенные записки Ольги Михайловны Фрейденберг (1890—1955) и предлагается интерпретация этого текста как мифополитической теории в форме дневника/мемуаров.

This article analyzes the postwar notes of Olga Freidenberg (1890—1955) and offers an interpretation of this text as a mythopolitical theory in the form of a diary/memoir.

«С самых ранних дней детства, как только во мне проснулось сознание... у меня было чувство... что все то, что находится во мне и вне меня, не исчерпывается собой, а имеет значение» (I, 1)<sup>1</sup>. Ольга Михайловна Фрейденберг (1890—1955) на-

---

1 Здесь и далее записки Фрейденберг цитируются по машинописным копиям, находящимся в архиве Гуверовского института в Калифорнии: *Freidenberg O. Memoirs*,

писала эти слова на первой странице своих «записок» (написала, когда ее работа над автобиографической хроникой уже подходила к концу). Она пояснила, что при других обстоятельствах могла бы стать религиозной, но родившись в секулярной еврейской семье, выбрала другой путь — литературу. В отличие от двоюродного брата, Бориса Пастернака, Фрейденберг не обладала талантом писателя. Она стала филологом. Когда Фрейденберг размышляла о своей с детства усвоенной логомании («чувство, что все... имеет значение»), к концу подходила и ее карьера профессора классической филологии в Ленинградском университете.

Презумпция смысла была свойственна гуманитарной мысли на рубеже XX века. Достаточно вспомнить о герменевтике Вильгельма Дильтея. «Жизнь», или «переживания жизни» (*die Erlebnisse*), получают «выражение» и таким образом «объективируются» в формах культуры и искусства, и именно человек искусства в своей способности дать выражение жизненному опыту является подлинно живущим. Но что же делать человеку, которому отказано в художественном таланте? Такому человеку остается путь «дешифровки» выражений опыта. В этом качестве, историк или филолог становится художником второй руки, способным к повторному пере-живанию (*das Nachleben*) жизни. Так описала герменевтический метод Ханна Арендт в эссе «Дильтей как философ и историк» (1945) [Arendt 1994]. В 1945 году (находясь в эмиграции в Нью-Йорке) Арендт смотрела на эти гуманистические представления с позиции человека эпохи Гитлера и Сталина. (В это время она начинала работать над анализом тоталитаризма.) Арендт описывает понятие о жизни, исполненной смысла и доступной пониманию благодаря усилиям искусства или истории, с горькой иронией. Слова Фрейденберг, написанные в 1947 году, лишены иронии. Едва пережив блокаду, она сомневалась, что ей удастся пережить и идеологические чистки, начавшиеся тогда в Ленинградском университете. Для Фрейденберг вера в осмысленность жизни и в свою способность интерпретировать были не только научным методом, но и стратегией выживания.

В наше время Фрейденберг, которой мало удалось напечатать при жизни, привлекает все больше внимания как значительный и еще не вполне оцененный теоретик культуры, разработавший самобытную концепцию мифа и особую методологию<sup>2</sup>. Как классический филолог, она нашла и сторонников, и противников<sup>3</sup>. В последние годы немало писали о парадоксах посмертной ре-

---

holograph and typescript (Bks 1—34). Pasternak Family Papers. Hoover Institution, Box/ Folder 155—159. В круглых скобках указаны номера тетради (римскими цифрами), главы (после двоеточия) и страницы (после запятой). В тетрадях I—II (где главы нумерованы по-другому) приводятся только номера страниц; так же и в тетрадях XXXII, XXXIII, XXXIV, где главы не нумерованы.

- 2 Краткий обзор жизни и научного наследия Фрейденберг см. в: [Брагинская 2017; Braginskaya 2016]. См. также монографию: [Perlina 2002]. Биографический материал, библиографию трудов Фрейденберг и исследований о ней см. на сайте: Электронный архив Ольги Михайловны Фрейденберг // <http://freidenberg.ru/Vход> (дата обращения: 14.10.2022). Сайт курируется Н.В. Брагинской и Н.Ю. Костенко.
- 3 Заметим, что враждебность по отношению к Фрейденберг сохранилась на кафедре классической филологии Петербургского университета по сей день. Краткий очерк истории кафедры, которой она заведовала с 1932 по 1949 год, помещенный на официальном сайте филологического факультета, вовсе не упоминает ее имени. См.: Кафедра классической филологии // Филологический факультет. Санкт-Петербургский государственный университет (<http://phil.spbu.ru/o-fakultete-1/struktura-fakulteta/kafedry/klassicheskoi-filogiit>) (дата обращения: 01.09.2022)).

путации Фрейденберг — о запоздалом признании, при котором ее идеи оказались предвестиями открытий других; о том, как трудно критиковать концепции автора такой трагической судьбы; о столкновении поклонников и хулителей<sup>4</sup>.

Помимо научного наследия, к настоящему времени представленного в печати (главным образом благодаря усилиям Н.В. Брагинской), Фрейденберг оставила огромный корпус «человеческих документов», по сей день почти не опубликованный.

Через много лет после ее смерти в архиве Фрейденберг обнаружили 34 рукописные тетрадки автобиографической хроники под общим названием «Пробег жизни»<sup>5</sup>. В процессе писания она называла этот документ — отчасти воспоминания, отчасти дневниковые записи — «записками». Фрейденберг начала свои записки зимой 1939—1940 года, написав свою «автобиографию» (от начала до поступления в университет в 1917 году). Она вновь взялась за перо в мае 1942 года, чтобы описать блокаду Ленинграда (сначала ретроспективно, потом в форме дневника), прервала записи в апреле 1944 года (когда умерла ее мать) и возобновила в июне 1945-го, описав конец войны. Между 1947 и 1950 годом она регулярно документировала репрессии в Ленинградском университете (как и в блокаду, она писала по ходу событий или по свежим следам). Зимой 1948—1949 года, чтобы «заполнить лакуну», она написала воспоминания о своей жизни от поступления в университет до начала войны. Одновременно она продолжала описывать события дня, так что хроника настоящего и воспоминания о прошлом писались параллельно. В декабре 1950 года, после нескольких попыток, она поставила точку. Написанные в течение десятилетия, в сложной временной перспективе, записки охватывают почти всю жизнь Фрейденберг и значительную часть истории XX века.

Нет сомнения, что главной частью и центральным ориентиром записок является хроника ленинградской блокады — девять тетрадок под названием «Осада человека». История всей ее жизни ориентирована по оси «после блокады» и «до блокады».

Самый образ блокады приобрел для Фрейденберг символический смысл. Блокадный день, многократно описанный в дневниковых записях, виделся ей как «простой обыденный советский день» (XXVIII: 17, 78), а «блокада», или «осада» («двойное варварство, Гитлера и Сталина» (XVIII: 138, 10), стала своего рода полевым опытом для понимания жизни в сталинском государстве.

Записки исполнены внимания к «методу» (Фрейденберг часто употребляет это слово). Так, Фрейденберг вполне сознательно применяла ходы той методологии, которую она разработала в своей научной деятельности, «генетическую семантику»<sup>6</sup>. Она описывала свою жизнь через метафоры, символы и мифологические сюжеты и нередко видела свое настоящее как возвращение прошлого, а прошлое как прообраз настоящего.

Установка на научный метод в осмыслении собственной жизни была для нее вполне сознательной: «...я никогда не могла ставить перегородок между

---

4 С разных позиций о парадоксах репутации Фрейденберг писали Н.В. Брагинская [Брагинская 2009], Г. Тиханов [Тіханов 1999; 2012].

5 Подробное описание текста записок см. в: [Костенко 1994; 2017].

6 Грубо говоря, «генетический метод» предполагал погружение вглубь истории, выявляя образы, метафоры, сюжеты, укорененные в мифе, а затем возвращение к современности, отслеживая трансформации смыслов во времени, от мифа к фольклору и к литературе. См.: [Троицкий 2017; Тіханов 2012].

научной теорией и непосредственным восприятием жизни; одно выражало другое» (XVI: 122, 17).

При общем единстве герменевтического подхода и генетического метода в разных частях записок Фрейденберг прибегала к разным интерпретативным стратегиям и разным жанровым рамкам.

Первая автобиография — история детства, отрочества и юности, представленная как «увертюра» к жизни, когда начнется «настоящая любовь» (II, 179), была написана для одного читателя, тогдашнего возлюбленного Фрейденберг, Б. (не отвечавшего ей взаимностью). Выдержанная в лирическом тоне, напоминающем о ранней прозе Пастернака, эта часть записок исполнена пафоса любви как «особого мироощущения», наделяющего жизнь глубокой символикой (XI: 91, 201).

Блокадная часть записок — это дневник (порой «ретроспективный дневник»), подобный полевому дневнику этнографа, сознательно написанный с позиции антрополога — участника-наблюдателя, занятого описанием блокадного быта и осмыслением жизни в осажденном Гитлером городе<sup>7</sup>. С этой позиции Фрейденберг описывает «процесс еды» (XIV: 89, 45), «функции» тела (XIII: 52, 69), «структуру» хлеба и экскрементов (XII bis: 29, 81) — вещи обычно тривиальные, сейчас же исполненные культурного и политического значения. Она описывает государственную систему распределения, при которой человек не мог «сам для себя добывать средства пропитания», страшное неравенство, и делает значительное обобщение: «глотать и испражняться он должен был по принуждению» (XIII: 37, 15). Она сосредоточена на описании работы власти и насилия в теле, семье, городе, государстве. Она последовательно осмысляет блокадную жизнь в мифологических и мифополитических категориях: жизнь «в преисподней, куда загнал человека кровавый спрут» (XIX: 163, 71) (из контекста ясно, что под «кровавым спрутом» она имеет в виду Сталина).

Записки о блокаде (как и исполненные любви записки о детстве, отрочестве и юности) насквозь пронизаны смыслом, причем это документ не только тотального семиозиса, свойственного жизни в экстремальной ситуации, но и тотальной политизации. Это герменевтика, рожденная из опыта «осады человека», когда власть проникала в каждую клетку жизни.

Как покажет будущее, блокадный опыт оказался непреодолимым — и по силе травматического воздействия на человека, и по влиянию на метод интерпретации жизни, в котором отныне будет преобладать политическое.

Записки послевоенного времени, сосредоточенные на идеологических репрессиях в Ленинградском университете, заключают в себе последовательно (хотя и не всегда эксплицитно) разрабатываемую теорию государства, которая непосредственно восходит к опыту блокады и к блокадным запискам. Как Фрейденберг решила уже после войны, «Гитлер и Сталин, два тирана, создали новую форму правления, о которой Аристотель не мог знать» (XXVIII: 7, 47), и Фрейденберг описывает и анализирует эту систему для читателя будущего.

Мысль о будущем историке и теоретические выводы о природе сталинизма пронизывают и воспоминания о жизни в 1917—1941 годах, писавшиеся одно-

7 Нина Перлина назвала блокадные тетради Фрейденберг, в которых часть записей сделана через несколько месяцев после событий, «ретроспективным дневником» [Perlina 2002: 64].

временно с хроникой 1948—1949 года (это история жизни, написанная в остром сознании того, что последовало за событиями этих лет и соотношенная с большой историей).

Трудно сказать, входила ли разработка политической теории в намерения Фрейденберг (скорее всего, она не осознавала свою задачу таким образом). И тем не менее в записях военных и послевоенных лет она осознанно применяет к бытовым и интимным ситуациям аналитические категории политической философии и концептуальные метафоры политической мифологии: *polis*, *body politic*, *état de siège* и т.д. Концепт *body politic*, введенный Платоном и Аристотелем и развитый Гоббсом, является организующей метафорой всех записок, и Фрейденберг часто прибегает к гоббсовскому образу единого тела государства-Левиафана и к идее войны всех против всех. Проводя параллель между телом человека и телом общества, она анализирует воздействие государственной власти на человеческое тело (в современных терминах мы называем такой подход биополитическим).

В подходе Фрейденберг можно усмотреть много общего с западной политической философией ее времени, с идеями и понятиями Вальтера Бенямина, Карла Шмитта, Лео Штрауса, Карла Лёвита, Ханны Арендт и других, занятых анализом политической ситуации в Германии. Диаметрально отличаясь в оценке происходящего (Шмитт принял нацизм), эти авторы подходили к современной политике в антропологическом ключе — как к положению человека в социальном мире. Многие из них уделяли большое внимание роли мифологического мышления, пользуясь (в разных целях) образом Левиафана<sup>8</sup>.

Особенно бросаются в глаза параллели между Фрейденберг и Ханной Арендт. И Арендт настаивала, что государство Гитлера и Сталина было «новой формой правления», которая «существенно отличается от всех иных форм политического подавления» [Арендт 1996: 597]. Как и Фрейденберг, она была классиком по образованию, и для нее слово «политика» непосредственно связывалось с греческими полисом и идеей *body politic*, а Гоббса она считала теоретиком тоталитарного государства *avant la lettre*. Во многих отношениях Арендт и Фрейденберг пришли к сходным выводам.

Фрейденберг, которая работала (как она сама писала) в «полной культурной изоляции» (XXVII: 83, 9), едва ли могла знать об этих авторах. Тем более значительны эти странные сближения.

Между Фрейденберг и современниками на Западе имеются и существенные различия. Фрейденберг выстраивала свою политическую теорию изнутри тоталитарного государства, и в некоторых отношениях (главным образом в своем видении исторического процесса) она думала по-другому. Более того, работая в единственно возможной в этих условиях форме — частной, тайной хро-

---

8 Существует обширная научная литература о политической философии в Германии 1920—1930-х годов. О возрождении мифа сошлемся в качестве примера на статью Дж.П. Мак-Кормика [McCormick 1994]. Как отмечает Мак-Кормик, при общем интересе, отношение к мифу было разным. И Карл Шмитт, принявший нацизм, и Лео Штраус, эмигрировавший в США, посвятили в это время книги «Левиафану» Гоббса. При этом только Шмитт принимал миф как эффективный инструмент государственной власти. Для критиков режима возрождение мифа в эпоху нацизма было знаком регрессии — отказом от идеалов Просвещения; об этом тогда писали Теодор Адорно и Эрнст Кассирер, см.: [Ibid.: 626] и сн. 19.

ники — она создала политическую теорию, неотделимую от наблюдений над своей повседневной жизнью, теорию-дневник, в которой организация быта предстает как модель действия государственной системы.

Имея много общего с западной политической мыслью, записки Фрейденберг кажутся явлением редким, если не уникальным, среди известных нам документов ленинградской блокады и сталинских репрессий. Однако зачатки такого подхода можно найти в блокадных записках (тоже тайных) современницы Фрейденберг, ленинградского литературоведа Лидии Гинзбург. И Гинзбург (хотя и не так последовательно, как Фрейденберг) старается осмыслить бытовой опыт блокады в терминах политической теории, и она смотрит на блокаду как на модель положения человека в ситуации террора, и она пользуется образом государства-Левиафана и идеей войны всех против всех, а также проводит параллель между дистрофическим телом блокадника и *body politic*<sup>9</sup>. По всей видимости, Фрейденберг не знала не только о Ханне Арендт, но и о концепциях, которые в то же самое время разрабатывала в своих записных книжках Лидия Гинзбург, хотя они жили на одной улице (в 350 метрах друг от друга, на противоположных сторонах канала Грибоедова)<sup>10</sup>.

Для нас это свидетельствует и о социальной разобщенности, и об общности мысли — прочнейшей из связей среди людей.

В военные и послевоенные годы Фрейденберг считает ведение тайной хроники «долгом перед историей», и она не раз обращается к непонятливому будущему историку («Историк не поймет, как население могло выносить подобную систему подавлений и насилий. Так вот, я ему отвечаю...» (XXXII, 77)). Она пишет в сознании опасности ведения таких записок: «И хоть я не знаю, увидят ли они свет (кто их спрячет? куда?), я не хочу отказаться от того, что я считаю своим долгом перед историей. <...> Лучше рисковать жизнью, но тайно писать» (XXXII, 45).

Она сочла необходимым упомянуть и о недостатках записок: «Да, я еще забыла рассказать об одной вещи (мои записки свободны от принуждения, сбивчивы, непоследовательны и написаны бедным языком, отражая утомленный и обедненный мозг)» (XXVII, 83, 12—13). Владя даром наблюдения и формулировок, Фрейденберг действительно не всегда пишет хорошо. В записках то и дело встречаются повторения (порой навязчивые), длинноты, сбивчивость, поспешный и бедный язык. (Она часто писала быстро и всегда без черновика.)

9 Заслуга анализа политической концепции, содержащейся в блокадных записках Лидии Гинзбург, в контексте западной политической мысли принадлежит Ирине Сандомирской, см.: [Сандомирская 2013: 173—265; Sandomirskaja 2010]. Сандомирская исходила из организующей роли концептуальной метафоры *body politic* в создании такой теории. Она указала на сходство между Гинзбург и Фрейденберг (на основании отрывков в «Минувшем»), см.: [Сандомирская 2013: 255, сн. 187]; Sandomirskaja 2010: 307, ft. 2; 317—318, ft. 38, 40]. Анализ записок Гинзбург, проделанный Ириной Сандомирской, помог мне сформулировать смысл теорий Фрейденберг.

10 По всей видимости, Фрейденберг и Гинзбург не общались друг с другом (следов этого мне найти не удалось), но у них были общие друзья и враги (Б.М. Эйхенбаум, В.В. Прош, В.М. Жирмунский, Г.А. Гуковский, М.Л. Тронская и др.). Тронская, которую Фрейденберг считала своим врагом на факультете, с детских лет была приятельницей Гинзбург, и она упомянута в записях и Гинзбург, и Фрейденберг.

Написанные тайно (и в этом смысле свободные от принуждения), записки Фрейденберг свободны и от соблюдения некоторых конвенций хорошего тона. В своих моральных суждениях она бывает безжалостной и к себе, и к другим. Она включает отвратительные детали, которые не часто встретишь даже в интимном дневнике.

Отчасти это можно объяснить позицией антрополога. Так, в хронике блокады Фрейденберг описывает функции тела в ситуации голодания, включая постоянные поносы, описывает дом и город, покрытые экскрементами, — что входит в задачу этнографа. Документируя чистки в Ленинградском университете, она описывает, не гнушаясь подробностями, склоки и интриги на кафедре, своего рода «стоки советских академических нечистот» (XXV: 71, 43). В безжалостной хронике советского быта, будь то блокадный или послевоенный день, человек предстает «в неубранном естестве» (XXVIII: 17, 78). (Эта фраза Фрейденберг, не стеснявшейся показать человека со спущенными штанами и в прямом, и в переносном смысле.) Под ее пером хроника повседневности во всей ее непривлекательности получает символическое и теоретическое осмысление и обращается в этнографию, историографию, политическую теорию. Как этнограф, Фрейденберг выступает в двойственной роли наблюдателя и участника, и не мудрено, что порой и она может показаться читателю в неприглядном виде.

Мы, далекие потомки, не можем поставить под сомнение ни ее восприятие жизни, какой бы непривлекательной не казалась открывающаяся картина, ни тот высокий пафос истории, который подлечит запискам, написанным с опасностью ареста и гибели. Но роль читателя-исследователя состоит и в том, чтобы подвергать документы анализу и интерпретации.

Написанные человеком, жившим в эпоху Гитлера и Сталина, записки отражают и утомленный мозг измученного автора. И в этом состоит их ценность как документа — свидетельства об эпохе и ее страшном давлении на человека.

Едва ли будет преувеличением сказать, что записки Фрейденберг — история жизни, совпавшей с революцией, двумя мировыми войнами и сталинским террором, хроника, написанная исследовательницей культуры, которая теоретизировала свое восприятие жизни, представляют собой один из самых замечательных человеческих документов XX века.

Ко времени ее смерти в 1955 году архив Фрейденберг был упакован в железный сундук, в котором он пролежал в квартире ее душеприказчицы, Русудан Рубеновны Орбели, до начала 1970-х годов.

История архива сама по себе свидетельствует и о времени, в котором она жила, и о нашем времени, и заслуживает внимания.

По одной версии, первым, кто открыл этот сундук, был Ю.М. Лотман. В 1973 году он опубликовал в «Ученых записках Тартуского университета» три статьи «из научного наследия О.М. Фрейденберг», сопроводив их своим предисловием, в котором он назвал Фрейденберг предтечей семиотического метода [Лотман 1973]. Архивом заинтересовалась семья Пастернаков. Тогда же Н.В. Брагинская обнаружила на дне сундука переписку Ольги Фрейденберг с Борисом Пастернаком<sup>11</sup>. Опубликованная по-русски в Нью-Йорке в 1981 году,

---

11 Брагинская несколько раз рассказывала о своей находке, в последний раз в: [Брагинская 2017: 13].

эта переписка была переведена на несколько языков и привлекла значительное внимание. В России переписка публиковалась (в различных изданиях) начиная с 1988 года<sup>12</sup>.

В середине 1970-х годов записные книжки Фрейденберг были переданы семье Пастернаков в Москве, перепечатаны на машинке (в объеме более чем 2400 страниц) и переправлены в домашний архив семьи Леонида Пастернака в Оксфорде. С 2015 года записки находятся в Гуверовском институте при Стэнфордском университете в Калифорнии и доступны для исследователей.

Когда переписка Ольги Фрейденберг и Бориса Пастернака была подготовлена к печати (это сделали Евгений Борисович и Елена Владимировна Пастернак, но их имена по понятным причинам не были указаны при первых, тамиздатских публикациях), многочисленные отрывки из записок Фрейденберг использовались в качестве соединительной ткани между письмами.

В течение 1980-х годов в эмигрантской печати были опубликованы два значительных фрагмента, исполненные острого политического содержания: о блокаде и о репрессиях в Ленинградском университете в 1946—1948 годах. На публикации стояло имя «Невельский», а за ним скрывалась Юдифь Матвеевна Каган, классический филолог из Москвы (дочь философа Матвея Кагана, члена Невельского кружка Бахтина)<sup>13</sup>.

В 2012 году записки Фрейденберг были использованы в документальном труде Петра Дружинина «Идеология и филология», посвященном репрессиям в Ленинградском университете в конце 1940-х годов [Дружинин 2012]. Дружинин цитировал послевоенную хронику Фрейденберг, в частности ее резкие суждения о поведении коллег, оказавшихся объектом чисток и проработок, в качестве комментариев к опубликованным им документам. Вокруг этого разгорелась дискуссия, в ходе которой достоверность мемуарных свидетельств Фрейденберг, а также ее моральный облик и научная состоятельность стали предметом страстной полемики. Нападки поступили со стороны филолога-классика из Ленинградского университета Ирины Левинской, которая почувствовала необходимость заступиться за учителей и коллег, представленных в записках в неприглядном виде. Левинская заявила, что Фрейденберг была склонна считать «доносчиками и интриганам» своих соперников по науке. Брагинская ответила, что Фрейденберг — «один из самых чистых людей», каких она знала, «и нет никого, кто мог бы по праву бросить в нее камень». Она также признала, что больше сорока лет держит текст записок «под спудом», отчасти из страха такой реакции, «но теперь время пришло». (Тогда, в августе 2013 года, Брагинская сообщила, что весь текст записок «выложен на сайте “Архив Фрейденберг” под паролем и может быть открыт в один день»<sup>14</sup>.)

12 Первая публикация переписки: [Пастернак 1981]. Среди российских публикаций отличается особой тщательностью: [Пастернак 2000].

13 См.: [Фрейденберг 1986; 1987]. Отрывки из воспоминаний об университетских годах опубликованы в: [Фрейденберг 1991].

14 См.: [Брагинская 2013; Левинская 2013]. Обе части полемики были также помещены на сайте «Нового литературного обозрения»: Ирина Левинская vs Нина Брагинская: полемика по поводу книги Петра Дружинина «Идеология и филология» // <https://www.nlobooks.ru/node/3659%22%20/h> (дата обращения: 21.04.2016). (При попытке доступа 28 августа 2022 года обе публикации реплики Брагинской оказались недоступными.)

Этот эпизод не только позволяет поставить вопрос о статусе дневников и мемуаров как исторического свидетельства, но и показывает эмоциональное напряжение, которое вызывают такие свидетельства у членов сообщества даже двумя поколениями позже.

По сей день записки Фрейденберг остаются запертыми «под паролем».

Предлагаемая здесь читателю статья представляет собой конспективное изложение книги, которая в настоящее время готовится к печати. Эта книга задумана как опыт чтения записок Ольги Фрейденберг и путеводитель по этой гигантской хронике. В настоящей статье моей основной задачей является прояснить ту герменевтическую и политическую теорию, которая заключается в записках, и основное внимание будет уделено послевоенным запискам. Записки послевоенных лет тесно связаны с блокадными записями, которым посвящена статья, опубликованная ранее на страницах этого журнала. Отсылаю читателя к этой публикации [Паперно 2016].

## «Быт строго выдержан по-сталински»

Описав блокаду, Фрейденберг вернулась к своим запискам (а она перестала писать после смерти матери в апреле 1944 года) в июне 1945 года. Ей кажется, что и она не пережила блокады: «Я видела биологию в глаза. Я жила при Сталине. Таких двух ужасов человек пережить не может» (XXI: 1, 2).

Вновь и вновь она пишет, что чувствует себя мертвой: «руки давно умерли», «дух угас», «мертвое сердце» (XXI: 1, 1; XXI: 4, 8). Предстоит «второе рождение мертвецом в мир» (XXI: 4, 8). С этой позиции она продолжает писать, готовая «преодолеть самые кровоточащие травмы, чтоб только донести до чернил и бумаги рассказ о сталинских днях» (XXI: 6, 11). Но вскоре она понимает, что писать не в силах.

Через два года, в июле 1947 года, Фрейденберг возвращается к запискам.

Ее мучит ощущение беспредельности, неизбытности времени: «Теперь у меня много времени. Я брошена в него. Вокруг меня бескрайнее время» (XXI: 4, 7); «Время. Бездонная пустошь. Страшно от этой бескрайней временной пустоты. Оголенное время» (XXII: 16, 15).

Как Вальтер Беньямин, описавший «гомогенное и пустое время» в ожидании войны вскоре после подписания советско-германского пакта о ненападении<sup>15</sup>, Фрейденберг, пережив войну, чувствует себя в плену у пустого, голого времени.

Она живет и пишет «с огромным напряжением, как насилие» (XXII: 16, 14). (Сама жизнь представляется ей насилием.) Мечтая о смерти, она обращается к запискам как «к единственному средству спасения» (XXI: 9, 18).

Сначала она описала события последних двух лет — конец войны, возвращение университета из эвакуации, попытки восстановить город с помощью «рабского труда» (XXI: 10, 20). Затем начинает описывать свою повседневность.

---

15 Речь идет о концепции времени, выдвинутом в знаменитом эссе Беньямина «О понятии истории», или «Тезисы о философии истории» (1940), написанном в эмиграции во Франции в ощущении неизбежности мировой войны.

«Жизнь после войны стала совсем невыносима» (XXV: 63, 9). Фрейденберг начинает с быта: «Кто может описать советский быт, быт сталинской эпохи? Он со временем будет непостижим, как фантазм» (XXIII: 34, 19). В надежде помочь историку будущего она вновь и вновь обращается к условиям бытовой жизни в послевоенные годы: «...то нет электричества, то нет воды, то испорчен телефон, то молчит радио...» (XXIII: 34, 19—20). В годы блокады она описывала страшный быт осажденного города. После войны она развивает концепцию «советского», «сталинского» быта как системы нормализованных и, более того, преднамеренно созданных, продуманных трудностей. Она многократно описывает конкретные ситуации из своего опыта (покупки в магазине, питание в столовой, лечение в больнице, попытку получить очки, потоп в квартире и проч.). Из конкретных наблюдений вытекают далеко идущие социально-политические обобщения.

Приведем конкретный пример того, каким методом создается дневник-теория.

Описывая последние месяцы 1947 года (она пишет в декабре 1947 и январе 1948 года), Фрейденберг просматривает и цитирует «свои бумажки» (короткие записи, делавшиеся для памяти в течение дня): «Мучители! Газ. Свет. Очереди нарочно» (XXVIII: 7, 46). Затем она начинает обобщать: «Смотрю поверх истории. Марксизм провалился. Национализация производства не создает национального равенства...» (XXVIII: 7, 46). Возвращается к идее быта и создает сжатую формулу: «Быт строго выдержан по-сталински». Иллюстрирует это положение примерами того, что происходит повседневно: «За одни сутки то телефон не работает, то радио замолчало, то воды не было, то электричество не горело» (XXVIII: 8, 49). Исходя из повторения ситуации она делает вывод о намеренном характере бытовых трудностей: «...быт не только в этих временных трудностях. Он — в нарочитой разрухе» (XXVIII: 8, 49). (Затем она переходит к описанию повседневных университетских дел.) Тем временем наступило 16 декабря — отмена карточной системы распределения продуктов. Описав новые бытовые проблемы, Фрейденберг обобщает в мифологических терминах: «Итак, Сталин делает из жизни Сизифов камень». Затем она перефразирует свой вывод: система трудностей «проводится с глубочайшей продуманностью» (XXVIII: 12, 58). (Повествование опять обращается к ситуации на службе, причем Фрейденберг вклеивает в тетрадь «Приказ № 2655» по ЛГУ от 24 ноября 1947 года, в котором излагается новый режим работы университета, исполненный ограничений.) Возвращаясь к домашнему быту, она повторяет, что никто никогда не узнает, и с этой мыслью снова приводит конкретную информацию на примере сегодняшнего дня: «Никогда никто не поймет, что такое советский мучительский быт. Вот сегодня. Встаю, нет света. <...> Холодно. <...> Писать? Читать? Темно» (XXVIII: 14, 68—69). Она развивает вывод о нарочитой природе бытовых трудностей как государственной репрессивной политике: «К государственному мучительству прибавляется домовое» (XXVIII: 14, 69). Вскоре она опять принимается описывать свой день: «Вот мой очередной день...» (XXVIII: 17, 76).

Работая в дневниковой форме, Фрейденберг формулирует принципы работы общества на основе своего опыта, который она описывает день ото дня, не чуждаясь повторений. В этой перспективе она видит мучительный быт как продуманную форму терроризирования населения, и на этом основании формулирует теоретический принцип: «До сих пор был известен политический и религиозный террор. Сталин ввел и террор бытовой» (XXVIII: 19, 84).

Заметим, что понятие бытового террора было не известно не только Аристотелю, но и Ханне Арендт, создавшей свою теорию извне тоталитарного общества.

Фрейденберг не раз принимается обобщать свои наблюдения, сводя воедино различные аспекты сталинской системы: принудительный труд («труд с прикреплением», «труд при грошовом заработке»), голод, преднамеренная система бытовых трудностей, принудительное сожительство с другими, ссоры и склоки, надзор (XXIII: 34, 19—20).

Она описывает устройство дома, которое воплощает и соединяет эти черты: «Дом, где в каждой комнате живет целая семья» (она неоднократно упоминает, что супруги совокупаются в присутствии стариков-родителей и детей), где в одной квартире живут люди разных социальных классов («культурный человек попадает в соседство с негодьями и бандитами»), «где у всех общая кухня и общая уборная с вечно испорченными плитами, водопроводами, стульчаками, полами, фановыми трубами»; где «драки и пьянки, громкоговорители и радиолы, площадная брань и склоки женщин» (XXIII: 34, 20). И у себя дома, как и на службе, человек живет под взглядами и надзором других: «Он брошен в “коллектив” на службе, где за ним следят и на него доносят, в собственной квартире, в собственной комнате и даже в собственной семье» (XXXIV, 144).

Принудительная совместность казалась Фрейденберг одним из главных принципов «системы». Она впервые описала эту ситуацию в записках блокадного времени. В блокадную зиму при отсутствии отопления люди вынуждены были ютиться в одной комнате, и Фрейденберг подвергла эту ситуацию культурологическому анализу: «Совместное, в кучу, проживание было изобретено цивилизацией как форма государственной кары за преступление. Только в тюрьме люди скучены...» Она продолжает рассуждать: «...если они в одной и той же комнате совместно проводят день, и спят, и испражняются тут же, где едят — то это и есть тюрьма» (XVI: 119, 6). Из этого она делает обобщение большой теоретической силы: «Тирания создала из этого нормативный быт» (XVI: 119, 6). В другой блокадной тетради она возвращается к этой идее, уточняя свой вывод о нормализации условий осады в советском быту: «История знала осады и катастрофы. Но еще никогда человеческие бедствия не бывали задуманы в виде нормативного бытового явления» (XVIII: 138, 10). (Возможно, что она имеет в виду понятие *l'état de siège* — осадное положение как метафору политического режима «чрезвычайного положения»; мы еще вернемся к этой теме.)

Как и Ханна Арендт в «Истоках тоталитаризма», Фрейденберг работает на материале экстремальных условий. Для Арендт лабораторией новой формы правления был концентрационный лагерь. (Для Арендт важно, что в идее лагеря, в отличие от ситуации традиционного рабства, человек «не имеет права на собственное тело» [Арендт 1996: 576].) Для Фрейденберг такой лабораторией была осада Ленинграда. При этом Фрейденберг сравнивала ситуацию человека, живущего в осаде, с тюрьмой или лагерем («осажденный город изнывал в отечественном концлагере» (XV: 108, 5)). И если в блокадных записях Фрейденберг приравнивала осажденный город к тюрьме или лагерю, то в послевоенных тетрадях само понятие блокады стало метафорой — парадигмой жизни в сталинском государстве.

## Левиафан

Создавая свою политическую теорию, Фрейденберг активно пользуется метафорами и мифами. В годы блокады она описала аварию канализации в квартире, грозившую залить квартиру нечистотами, как вторжение хтонического чудовища: это «советская Тиамат, перевозданный хаос и грязь» (XV: 115, 26)<sup>16</sup>. Фрейденберг использовала здесь образ из шумеро-вавилонской мифологии, который исследователи мифа связывали с Левиафаном<sup>17</sup>. Есть все основания считать новый миф, созданный Фрейденберг — «советская Тиамат» — вариантом мифа о государстве-Левиафане. Государство (или Сталин) предстает в блокаде записках также в образе страшного зверя: это царящий в преисподней «кровавый спрут» (XIX: 163, 71).

В послевоенных записках государство не раз предстает в виде гигантского тела, а в одном случае является «колоссальной звероподобной машиной» (XXIII: 34, 20). И за этим образом стоит Левиафан, как он представлен в трактате Гоббса (большой человек — огромное животное — грандиозная машина)<sup>18</sup>.

В послевоенных записках появляется и образ советского общества как социального тела, обезглавленного тираном Сталиным: «Обезглавив Россию, убив всю интеллигенцию, Сталин создал из страны одно туловище» (XXIII: 34, 21); «Человеческое туловище, лишённое головы, стало распутным» (XXV: 63, 11). (В этом контексте она вновь пишет о патологической совместности в коммунальных квартирах, являющейся частью «государственной системы бесчестья» (XXV: 63, 11).)

В написанных одновременно с хроникой 1948—1949 годов воспоминаниях о своей довоенной жизни Фрейденберг прибегает к этому образу, когда она описывает (для историков будущего) 1937 год, и здесь она вплотную подходит к созданию своей версии политического мифа:

Сталин... проходил по стране смертью. Он совершал процесс беспощадной расправы над населением и отрубанием [sic] у народа головы; отныне оставалось в живых одно туловище. Такой версии мифа человечество никогда не придумывало, даже самое дикое. Ходили мифы о гидре, о голове Руслана, но никому не приходила на ум ужасающая картина отрубленных и функционирующих туловищ — даже самому Иоанну Богослову (XI: 86, 159).

Исходя из логики этого образа, Фрейденберг отделяет государство от общества. Для нее государство — это не сила, которая объединяет все общество в одно социальное тело под властью головы-суверена (как видит Левиафан Гоббс и Шмитт). Тело общества — это жертва тирана-Сталина, обезглавившего (а не возглавившего) его; жертва, ужасающая в своей распутности.

---

16 Этот эпизод подробно описан в: [Паперно 2016], но тогда я не связала Тиамат с Левиафаном.

17 О том, что в Левиафане историки мифологии пытались распознать Тиамат, божество из вавилонской легенды о древнем потопе, писал Карл Шмитт [Шмитт 2006: 107].

18 Как указал Шмитт, у Гоббса государство-Левиафан предстает и как «большой человек», и как гигантский «зверь», и как «машина», которые для Шмитта — в отличие от Фрейденберг — являются символами спасительного единства сильного государства [Шмитт 2006: 123—125].

## «Преследование науки приняло форму травли ученых»

При всем внимании к политическому значению быта и склонности к мифологическим символам Фрейденберг отнюдь не ограничивается этим в своем анализе. Записки подробно описывают и документируют идеологические «чистки» и «проработки» в Ленинградском университете в 1946—1950 годах. С наибольшей тщательностью она описывает ситуацию на своей кафедре, причем кафедра и университет были для нее моделью государства. «Университет — это Россия в миниатюре» (XXIX: 5, 19). «В большой международной политике делается то же, что у меня на кафедре» (XXXII, 52). Позже она напишет о кафедре как о «сталинском микрокосме» (XXXIII, 111).

Начиная с осени 1946 года (с постановления «О журналах “Звезда” и “Ленинград”») Фрейденберг фиксирует новый политический курс в стране — поворот в сторону «великого русского народа», прочь от «низкопоклонства перед Западом» (XXIV: 58, 58), и начавшиеся «публичные поругания» (XXIV: 59, 60). «В зиму 1947 года все эти черты сгустились до невозможности...» (XXV: 64, 15). Она пишет об изъятии духовной культуры, об институциях для «травли отдельного человека» (XXV: 64, 15), о том, как создавалась «искусственная культур-изоляция» (XXV: 64, 16).

Чувствуя себя во все большей изоляции, она думает о мире за пределами «сталинского застенка», и мысль, что там знают об их жизни, вызывает в ней надежду: «Наше вечное, всеобщее “знает ли заграница?” нашло, наконец, разрешение. Да, знает! И эта мысль дает спокойно умереть» (XXV: 72, 49).

Как филолог она видит сталинскую систему в языке («полицейский эпический язык») и жанре («единственный жанр, который культивировался, была схематическая утопия»). Собирая конкретные наблюдения, она комментирует употребление эпитета «сталинский», исчезновение слова «хорошо», изменение в общем языке значения таких слов, как «родной», «любимый», «друг», «отец», «учитель», которые в политической сфере прилагались к Сталину, и другое (XXV: 64, 13—14).

(В Германии Гитлера наблюдения над языком, «Lingua Tertii Imperii», проводил другой филолог, Виктор Клемперер, также оставивший обширный дневник, из которого и были почерпнуты эти наблюдения [Клемперер 1998].)

Пристально следя за развитием событий, зимой 1948 года Фрейденберг вновь отмечает, что «политические тучи сгущались»: «Настал момент, когда когти Сталина добрались до академических представителей. Преследование науки приняло форму травли ученых» (XXIX: 7, 29).

В своих записках об этом времени Фрейденберг сочетает информацию о конкретных людях с обобщениями, сделанными на основе наблюдений над собой и коллегами по филологическому факультету. Она пересказывает речи и покаянные выступления, включая и свои собственные; приводит тексты приказов и распоряжений, делает обобщения («структура “заседанья” была такова» XXIX: 7, 32). Она сообщает свои оценки поведения коллег и учеников — суждения далеко не беспристрастные.

Фрейденберг описывает, как «позорили всех профессоров литературы», которых «принуждали под давлением политической кары отречься от собственных взглядов и поносить самих себя». Она описывает, как одни каялись «“изящ-

но» и лихо»; другие «старались уберечь себя от моральной наготы и мужественно прикрывали стыд». Третий «уже терял чувство достоинства, которое долго отстаивал» (она называет имена). «Прочие делали, что от них требовалось» (XXIX: 7, 30). Замечая, что профессоров «пытали самым страшным инструментом пытки — научной честью» (XXIX: 7, 30), она приводит свои суждения о том, как коллеги вели себя под пытками. (Особенное внимание уделяется поведению тех, кого она считала приспособленцами и «блатчиками», когда и их коснулись репрессии.) Пишет она и о хулителях и проработчиках, и о предательстве учеников (студентов поощряли доносить на учителей). Описывает и собственное поведение (как кажется, не всегда понимая возможные последствия своих выступлений).

Как обойтись с такими записями? Опустить и игнорировать — это значит представить записки в искаженном виде. Неуместными кажутся и попытки разобраться в том, были ли у Фрейденберг реальные основания предъявлять моральные претензии к поведению отдельных коллег или учеников. Речь здесь идет не о том, как дело обстояло «на самом деле», а о том, как Фрейденберг видела мир вокруг себя и как она его описывала.

Какой же смысл имеют для Фрейденберг эти записи, сделанные на большом эмоциональном накале, об окружавших ее людях и о себе самой? От нее не укрылась неприглядность и мелочность того, о чем она снова и снова пишет — нехорошие люди, гадкие процедуры, то или иное поведение лиц, которых она не уважает.

Добавим, что большое место в ее хронике, еще до начала публичной травли, занимает то, что она сама называет обычными академическими склоками, включая напряженное соперничество с ближайшим коллегой по кафедре Иосифом Моисеевичем Тронским, которое описывается из тетради в тетрадь как военная кампания с активным участием жены Тронского Марьи Лазаревны («У Марьи Лазаревны был штаб, где все моментально делалось известно» (XXI: 3, 4)). Тема склочной борьбы на кафедре (и образ «штаб-квартиры» Марьи Лазаревны) проходит через все записки послевоенных лет, вплоть до последней страницы (о чем еще будет сказано).

Проиллюстрируем же, как работает дневник-теория на одном примере: он касается понятия «склока». В этом случае Фрейденберг переводит суждения из бытовой области склок и сплетен (не редко получающей отражение в частных записках) на уровень крупных обобщений, сформулированных в политических и символических терминах. Сама Фрейденберг представляет свою позицию следующим образом:

Меня не может задеть ни человек, ни явление, которого я не уважаю: травля, нападки, публичное советское обвинение; или то или иное поведение лиц вроде Мещанинова или Жирмунского, — людей завистливых, продажных и патологически тщеславных. Не они поражают меня, эти стоки советских академических нечистот. Но жизнь всегда меня поражает. Мой ум обобщает ничтожные явления, видя в них голос целой эпохи (XXV: 71, 43).

(Заметим, что здесь она ставит в один ряд имена людей, которые для многих коллег и тогда, и сейчас не являются равноценными.)

Поясним ее стратегию: Фрейденберг метафоризирует, обобщает, теоретизирует.

Судя по фразеологии («эти стоки советских академических нечистот»), она проводит символическую параллель между отвратительными явлениями пос-

левоенной жизни и теми потоками реальных нечистот, о которых она писала во время блокады с откровенностью, которой избегали другие хроникеры и мемуаристы.

А к концу записок то, что она ранее называла «склоки на кафедре», или «обычные академические интриги» (XXIV: 46, 5, 9), обращается в категорию политического анализа. «Сталин породил совершенно новое понятие и новый термин, не переводимый ни на один культурный язык: склока. Всюду, во всех учреждениях, во всех квартирах чадит склока». Она поясняет (сначала в бытовых, потом в политических терминах): склока — «это низкая, мелкая вражда... Это доносы, клевета, слежка, подсиживание, тайные кляузы...» Затем она обобщает: «Склока — это естественное состояние натравливаемых друг на друга людей, беспомощно озверевших, загнанных в сталинский застенек». И наконец, завершает теоретическим выводом: «Склока — это руль “кормчего коммунизма” Сталина. Склока — его методология» (XXXIV, 150—151).

В конечном счете Фрейденберг приходит к важному историческому выводу, что склока — это часть гоббсовского принципа войны всех против всех, которая непрерывно идет в сталинском государстве. Если по Гоббсу государство существует именно для прекращения «войны всех против всех» как «естественного состояния» (то есть состояния в догосударственном обществе), то по Фрейденберг (которая также пользуется фразой «естественное состояние»), вражда людей друг против друга — это результат сознательной политики сталинского государства, натравливающего людей друг на друга.

В последней тетради, в которой она окончательно обобщает свой опыт, Фрейденберг пишет: «Сталинизм, несомненно, внес много нового. Он забросил на чердак устаревшего и наивного Макиавелли. Ввел он другую государственную методологию» (XXXIV, 148). Она уточняет, что Сталину «принадлежит введение и нового строя, до той поры неслыханного, — состояние войны с каждым в отдельности человеком, входящим в состав населения России» (XXXIV, 48).

Повторим, что, как и немецкие философы ее времени, Фрейденберг работает в ключе политической философии и политической мифологии. Живя и работая в культурной изоляции сталинского государства, Фрейденберг мыслит в тех же категориях, что и «заграница». При этом, пользуясь теми же составляющими, заимствованными у Гоббса (государство-Левиафан, война всех против всех), она создает — не всегда последовательно — свой вариант теории государства, призванный описать новый, до сих пор неслыханный строй.

## «Чувство истории»

Напомним, что, в отличие от своих современников на Западе, Фрейденберг и после войны пишет свои записки перед лицом смерти, «чтоб только донести до чернил и бумаги рассказ о сталинских днях» (XXI: 6, 11). Все послевоенные годы она живет в мысли о смерти как об избавлении. Она часто думает о самоубийстве, но как? В один прекрасный день ее «осветила мысль»: «...голод! Ведь я видела, как от голода можно, лежа у себя дома, обессилеть и умереть». (Опыт блокады подсказал решение.) Она тут же добавляет: «Нужно эти записки закончить во что бы то ни стало. Я не умру молча. Нет, свое дело я доделаю. Я ненавижу молчащих перед тиранией жизни» (XXV: 67, 25). (Сама жизнь оказывается тиранией.)

Именно в эти «хорошие дни» — дни ожидания скорой смерти — ленинградская Публичная библиотека обратилась к ней с предложением передать архив (рукописи, письма, заметки, материалы к биографии, записки и т.д.) в фонды библиотеки. Воодушевленная, Фрейденберг формулирует свою идею архива и истории:

Чувство истории как объективного процесса всегда говорило во мне с огромной силой. Здесь лежала моя уверенная вера, абсолютное мое преклонение перед объективным надчеловеческим процессом, — мой, если угодно, матерьялизм, для которого единая человеческая жизнь составляла составную часть всего сущего. Я говорю не об историографии, этой жалкой науке, а об истории как мировом процессе. Здесь ничто не бывает презрено или забыто. Это абсолютная жизнь бытия и небытия, выражающаяся в вечной изменчивости. Рай, который строили народы, бессмертие, «тот свет» — это все существует, но его зовут не небом, не парадизом, не валгаллой, а историей. Обмануть ее невозможно, сколько бы ни фальсифицировались документы и ни искажались или утаивались факты; это можно обмануть только историографию. Не раз я слышала от друзей: «Этого никто никогда не узнает! Все источники будут подделаны, все следы преступлений скрыты. Никогда не узнает история нашей жизни!» <...>

Идея архива была идеей истории. На меня пахнуло большим временем. Патетика над-личного и над-эпохального была для меня родной стихией. Я получала письмо, из которого я узнавала, что не одна на свете. Архив приобщал меня к братству мирового человека.

Я стала неузнаваема. Лицо стало мягким и светлым. Это была давно покинувшая меня радость (XXVI: 75, 56—57).

Фрейденберг описывает здесь понимание истории, которое она разделяла со многими из своих современников: история как «объективный», «над-личностный», «над-эпохальный» процесс, как «абсолютная жизнь». От своих истоков в европейском и русском гегельянстве посленаполеоновской эпохи до после-революционных лет вера в искупительную силу истории вдохновляла несколько поколений русских интеллигентов, особенно тех, кто жил в годы грозящих гибелью социальных катастроф. История «нашей жизни» виделась в этом ключе как неотъемлемая часть истории как мирового процесса, то есть жизни абсолютной. Многие дневники и мемуары — частные архивы советской эпохи — вдохновлялись этой верой.

Такой историзм не был чужд и европейским интеллектуалам. И Дильтей исходил из представления о том, что жизненный путь отдельного человека следует ходу истории, понимаемой (в гегельянском духе) как абсолютный, надличностный процесс. (Автобиография и автобиографические документы играли едва ли не главную роль в таком истолковании жизни.) Однако по мере того, как разворачивались события XX века, вера в эсхатологический потенциал мирской истории, а также уверенность в сохранности своей индивидуальной жизни в рамках исторического процесса покидала даже близких к гегельянству теоретиков.

Фрейденберг едва ли могла себе позволить усомниться в спасительной силе истории. Как историк культуры, она понимает, что такое представление об истории — это секулярный вариант бессмертия, и она осознанно описывает «архив» как материальное средство преодоления смерти; «чувство истории» как эквивалент религиозного чувства. Архив предлагает надчеловеческое и надвременное бытие даже материалисту. (Это торжественное заявление заканчивается

на иронической ноте: она переживает мысль о своей скорой смерти и будущем бессмертии в истории как светлую радость и физическое преображение.)

Вскоре Фрейденберг стало ясно, что отправить свой архив в государственное учреждение никак не возможно. Так возникла идея железного сундука.

К осени 1947 года она организует тетради в единый текст и дает название своей хронике: «Пробег жизни». Она решает прекратить писать: «Жизнь моя окончена. На этом я обрываю ее рукопись» (XXVII: 83, 6); «Записки я прекращаю. Сюжеты, формы, истолкования будут неизменно повторяться» (XXVII: 83, 10). (И жизнь, и записки описаны здесь в текстовых категориях.) Но вскоре она возвращается к запискам, давая новой тетради название «Послесловие», затем «Затяжное послесловие»<sup>19</sup>.

Время от времени она теряет веру в архив: «Архив! Кто потащит этот сундук? Куда?» (XXVIII: 19, 86). Она и хочет, и не смеет надеяться на земное возмездие: «До возмездия я не доживу. Я не увижу Московского Нюрнберга...» (XXVII: 83, 9).

Представляется, что «Нюрнберг», или «московский Нюрнберг» (о чем она писала неоднократно), был для нее секулярным вариантом Страшного суда.

Эта идея — восходящая к знаменитой формуле Гегеля «Weltgeschichte ist Weltgericht» (мировая история есть всемирный суд) — занимала и ее современников вне советской России. За этой формулой стояло гегелевское представление, усиленное Марксом, об истории как о телеологическом процессе, подобном христианской истории, то есть ведущем в конечном итоге к возмездию и искуплению. Об историческом сознании Нового времени как секуляризации иудеохристианского эсхатологического мышления писал Карл Лёвит в книге «Смысл в истории», опубликованной в 1949 году в США (куда ему удалось бежать из гитлеровской Германии). Однако Лёвит описал такие идеи (от Гегеля и Маркса до Дильтея), а особенно представление об истории как о международном трибунале, как трагическую «иллюзию», и притом в политическом смысле весьма опасную, полагая, что в условиях современности (а именно в гитлеровской Германии) политическая теология, а с ней секуляризованная вера в объективный смысл истории и надежды на спасение помогли некоторым мыслителям (прежде всего Карлу Шмитту) принять мессианистическую идеологию нацизма<sup>20</sup>.

В России непоколебимая ничем вера в историю, несущую возмездие (даже если оно предстоит после нашей смерти или вовсе вне времени), была частью интеллигентского сознания от гегельянского варианта в XIX веке до марксистского в XX-м. Для Фрейденберг и ее современников в Советском Союзе эти идеи оставались актуальными и очень личными. (Им хотелось истолковать формулу Гегеля именно в том смысле, что история есть эквивалент международного трибунала.) Эта идея подлежала всем запискам, которые, как многие дневниковые и мемуарные документы советской эпохи, предназначались и как свидетельские показания на своего рода Нюрнбергском суде истории<sup>21</sup>.

19 В конечном варианте записок тетради XXVII и XXVIII имеют подзаголовок «Затяжное послесловие», причем слово «затяжное», по-видимому, прибавлено позже.

20 См.: [Лёвит 2021]. О критической позиции Лёвита по отношению к гегельянскому и постгегельянскому историзму в контексте нацизма см.: [Barash 1998].

21 О таком историческом сознании и его роли в дневниках и мемуарах советской эпохи подробнее речь идет в: [Паперно 2021: 23–31; 75–77].

## L'état de siège

Итак, Фрейденберг продолжала писать. Сюжеты и образы повторяются. Она вспоминает о блокаде. Она ненавидит Сталина. Она по-прежнему любит Б. (Десять лет ее чувство оставалось нереализованным, а в блокаду она боялась, что, пережив одну голодную зиму с «Гитлером-Попковым»<sup>22</sup>, при возможной встрече с Б. она уже не будет женщиной (XIII: 52, 68).)

Летом 1948 года она записала: «...я отдалась ему» (XXXI: 20, 14). Она объяснила неудачу в исторических терминах: «Современному советскому мужчине я оказалась непригодна» (XXXI: 21, 16). Проблемой оказалось тело: «Б. отверг меня за то, что я не сумела обойтись с его телом» (XXXI: 23, 23).

Во все послевоенные годы блокада преследует ее в мыслях и воспоминаниях, и иногда образ блокады наступает неожиданно, как флешбэк (говорящий о клинической травме). Вот она стоит у окна:

Стою и думаю о блокаде, думаю новыми думами. Мне становится ясно, что вся блокада была паспортом советского строя. Вы внезапно открываете дверь и видите человека в небурном естестве. — Все, что пережито в блокаду, было типичным выражением сталинской нарочитой разрухи и угнетения, затравливания человека. Но это было краткое либретто. До и после блокады — та же тюремная метода, разыгранная медленно и протяжно. <...> Я эти строки пишу почти в темноте. Мне светит история. Я замерзаю. Это даже не блокада и не осада. Это простой, обыденный советский день (XXVIII: 17, 77—78).

Повторим, что для Фрейденберг блокада была и символом советского строя, и той лабораторией, в которой черты новой формы правления, неизвестной Аристотелю, проявились с полной очевидностью. Начав анализировать эту систему в блокадных записях, она развивала свои выводы в записках послевоенного времени. Эта теория включала представление о блокаде, или «осаде», как об исключительном положении, ставшем обыденным явлением — о нарочитой нормализации катастрофического в советском быту.

И в этом Фрейденберг следовала методологии и понятийному языку, которыми пользовались и современные ей западные авторы. Понятие об «осадном положении» (*état de siège*) было использовано в качестве метафоры особого состояния общества уже Гоббсом, а в политической практике использовалось в период Французской революции. В преддверии Второй мировой войны оно приобрело особое значение. Карл Шмитт (как юрист он играл роль в создании теории нацистского государства) разработал свою концепцию *état de siège* (или «чрезвычайного положения») как особого режима действия органов государственной власти, при котором правовые нормы временно отменяются с целью защиты от внешней или внутренней угрозы<sup>23</sup>. Фраза «осадное положение» использовалось и как метафора тоталитаризма: в 1948 году Камю написал пьесу «L'état de siège» — аллегорию прихода тоталитарного режима в один отдельно взятый город.

---

22 Попков был городским главой в блокадном Ленинграде, ответственным за распределения питания.

23 В наше время идея «чрезвычайного положения» стала популярной и благодаря Джорджо Агамбену, который говорит об «*état de siège*» и как о ситуации, когда произвол и террор приняты в качестве нормы также и в либеральном обществе.

Для Фрейденберг «осадное положение» было не только метафорой или понятием политической философии, но и реальным бытовым опытом.

## «Окончание»

Наступил день, когда Фрейденберг («заполнив лауну» в описании своей жизни между 1917 и 1941 годом) подошла к концу своих записок. Она «глубоко оплакивала кафедру, дело своей жизни...» (заведование кафедрой, от которого ее вынудили отказаться, «быстро», как она отметила, согласился взять на себя ее коллега Я.М. Боровский) (XXXIII, 94). В 1950 году она после многих колебаний ушла на пенсию и окончательно покинула университет.

В последней тетради (тетрадь XXXIV, датированная 1950 годом, имеет подзаголовок «Окончание») она подводит итоги своему анализу сталинизма: «Сталинизм, несомненно, внес много нового...» (речь об этом шла выше).

Как уже не раз указывалось (и в будущей книге предстоит пояснить), в концепции Фрейденберг есть много общего с теорией, разработанной ее западной современницей Ханной Арендт. Есть и различия. Арендт, видевшая концлагерь как воплощение новой формы правления, полагала, что с внутренней точки зрения не возможен ни непосредственный рассказ, ни воспоминание о таком опыте. О переживших концлагерь Арендт пишет, что «возвращение в психологически или как-то иначе понятный человеческий мир напоминает воскресение Лазаря». «Воспоминание помогло бы здесь не более чем свидетельство очевидца, который не способен сообщить свой опыт другому человеку» [Арендт 1996: 572].

Фрейденберг могла бы узнать себя в образе воскресшего Лазаря. В течение всех послевоенных лет она (не употребляя этой метафоры) вновь и вновь пишет о себе как живом мертвце, насильно возвращенном к жизни. И тем не менее Фрейденберг оказалась способна на то, чтобы сообщить другим свой опыт (хотя и не лагеря в буквальном смысле), оставив-таки не только свидетельство, но и теоретическое осмысление.

Как я старалась показать, ее записки — это дневник-теория (или теория-дневник), то есть теория, пережитая как опыт и отрефлексированная как концепция.

Последние полторы страницы («эпилог») записок посвящены итогу и смыслу («семантике») ее жизни (XXXIV, 153—154)<sup>24</sup>. Перечислив потери и поражения (в семье, в науке, в любви, на кафедре), она заключает, что «самое ужасное — осада, которую я увидела воочию, то скальпирование живого человека, перенести которое не может ничья душа».

Она говорит о своих записках в апокалиптических терминах (как о протесте «против артиллерии антихриста») и утверждает свою готовность бороться и дальше:

Я, конечно, внутренне не сдамся и дальше. Записки, написанные среди обысков, арестов и казней, есть мой человеческий протест против артиллерии антихриста. Я буду дальше рыться в земле в поисках целебного корня и выступать против

---

24 Все цитаты, приведенные ниже, находятся на этих страницах.

штаб-квартиры Марьи Лазаревны и кретинизма Боровского, буду бунтовать, делать усилия, чтоб написать последнюю книгу; я буду верить в науку и в историю.

Вера в историю (и в науку) осталась с ней до конца, непоколебимая ничем.

Заметим, что такое восприятие истории было чуждо ее западной современнице Ханне Арендт. В «Истоках тоталитаризма» она подвергла критическому анализу гегельянски-марксистское представление об истории как надчеловеческом, абсолютном процессе, «движущемся по своим законам к концу исторического времени». Она видела представление об истории как о некоем «высшем суде» как легитимацию террора, использованную государством Сталина [Там же: 601—603]. Позже, рассуждая о европейских левых, Арендт напишет, что «пакт Гитлера-Сталина был поворотным пунктом»: «...теперь пришлось отказаться от всякой веры в историю как высшего судию над делами человеческими» [Arendt 2007: 299].

Фрейденберг не отказалась ни от веры в историю, ни от бунта против тирании во всех ее формах, ни от намерения продолжать противостоять злу. При этом даже в эту торжественную минуту она упомянула борьбу против «штаб-квартиры» коллеги по факультету Марьи Лазаревны Тронской и Боровского, то есть университетские склоки.

В последних строках Фрейденберг делает попытку, обычно недоступную в автобиографии или дневнике — дописать свою хронику до конца, до момента своей смерти. Перед лицом смерти она вновь призывает торжественный образ Страшного суда истории, «московский Нюрнберг», в непосредственной связи с образом матери, погибшей в блокаду:

Не знаю, когда и от чего я умру. Но одно знаю: если я буду умирать в сознании, в моих глазах будут стоять два образа — моей матери — и московского Нюрнберга.

О. Фрейденберг

10 декабря 1950 г.

Ольга Михайловна Фрейденберг умерла 6 июля 1955 года от рака. Ее записки остаются неопубликованными по сей день.

## Библиография / References

[Арендт 1996] — *Арендт Х.* Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И.В. Борисовой и др.; послесл. Ю.Н. Давыдова; под ред. М.С. Ковалевой, Д.М. Носова. М.: ЦентрКом, 1996.

(Arendt H. The Origins of Totalitarianism. Moscow, 1996. — In Russ.)

[Брагинская 2013] — *Брагинская Н.В.* Дух записок: реплика Н.В. Брагинской по поводу интеллектуального наследия О.М. Фрейденберг и книги П.А. Дружинина «Идеология и филология» //

Гефтер.ру. 2013. 16 августа (<http://gefter.ru/archive/9736> (дата обращения: 21.04.2016)).

(Braginskaya N.V. Dukh zapisk: replika N.V. Braginskoy po povodu intellektual'nogo naslediya O.M. Freydenberg i knigi P.A. Druzhinina "Ideologiya i filologiya" // Gefter.ru. 2013.

August 16. (<http://gefter.ru/archive/9736> (accessed: 21.04.2016)).)

[Брагинская 2017] — *Брагинская Н.В.* «У меня не жизнь, а биография» // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культуро-

- логия. Востоковедение». 2017. № 4 (25). С. 11—38.
- (Braginskaya N.V. "U menya ne zhizn', a biografiya" // Vestnik RGGU. "Istoriya. Filologiya. Kul'turologiya. Vostokovedenie" Series. 2017. № 4 (25). P. 11—38.)
- [Брагинская 2009] — Брагинская Н.В. Мировая безвестность: Ольга Фрейденберг об античном романе. М.: ГУ-ВШЭ, 2009.
- (Braginskaya N.V. *Mirovaya bezvestnost': Ol'ga Freydenberg ob antichnom romane*. Moscow, 2009.)
- [Дружинин 2012] — Дружинин П.А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы. Документальное исследование. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- (Druzhinin P.A. *Ideologiya i filologiya. Leningrad, 1940-e gody. Dokumental'noe issledovanie*. Moscow, 2012.)
- [Клемперер 1998] — Клемперер В. ЛТИ. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога / Пер. с нем. А.Б. Григорьева. М.: Прогресс-Традиция, 1998.
- (Klemperer V. *Lingua Tertii Imperii: Notizbuch eines Philologen*. Moscow, 1998. — In Russ.)
- [Костенко 1994] — Костенко Н.Ю. Проблемы публикации мемуарного и эпистолярного наследия ученых: по материалам личного архива проф. О.М. Фрейденберг: Дипломная работа. М., 1994. (<http://freydenberg.ru/Issledovaniya/Diplom> (дата обращения: 28.08.2022)).
- (Kostenko N.Yu. *Problemy publikatsii memuarного i epistolyarnogo naslediya uchenykh: po materialam lichnogo arkhiva prof. O.M. Freydenberg: Graduation thesis*. Moscow, 1994. (<http://freydenberg.ru/Issledovaniya/Diplom> (accessed: 28.08.2022)).)
- [Костенко 2017] — Костенко Н.Ю. «Я не нуждаюсь ни в современниках, ни в историографах»: история архива Ольги Фрейденберг // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2017. № 4 (25). С. 117—127.
- (Kostenko N.Yu. "Ya ne nuzhdayus' ni v sovremennikakh, ni v istoriografakh": istoriya arkhiva Ol'gi Freydenberg // Vestnik RGGU. "Istoriya. Filologiya. Kul'turologiya. Vostokovedenie" Series. 2017. № 4 (25). P. 117—127.)
- [Левинская 2013] — Левинская И. О филологии без идеологии. Реплика по поводу двухтомника П.А. Дружинина «Идеология и филология» // Звезда. 2013. № 8. С. 173—183.
- (Levinskaya I. *O filologii bez ideologii. Replika po povodu dvukhtomnika P.A. Druzhinina "Ideologiya i filologiya"* // Zvezda. 2013. № 8. P. 173—183.)
- [Лёвйт 2021] — Лёвйт К. Смысл в истории. Теологические предпосылки философии истории / Пер., примеч. и предисл. А. Саркисянца. СПб.: Владимир Даль, 2021.
- (Löwith K. *Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History*. Saint Petersburg, 2021. — In Russ.)
- [Лотман 1973] — Лотман Ю.М. О.М. Фрейденберг как исследователь культуры // Труды по знаковым системам. Тарту: Тарту. ун-т, 1973.
- (Lotman Yu.M. *O.M. Freydenberg kak issledovatel' kul'tury* // Trudy po znakovym sistemam. Tartu, 1973.)
- [Паперно 2016] — Паперно И. «Осада человека»: Блокадные записки Ольги Фрейденберг в антропологической перспективе // Новое литературное обозрение. 2016. № 139. С. 184—204.
- (Paperno I. "Osada cheloveka": Blokadnyye zapiski Ol'gi Freydenberg v antropologicheskoy perspektive // Novoe literaturnoe obozrenie. 2016. № 139. P. 184—204.)
- [Паперно 2021] — Паперно И. Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. М.: Новое литературное обозрение, 2021.
- (Paperno I. *Sovetskaya epokha v memuarakh, dnevnikakh, snakh*. Moscow, 2021.)
- [Пастернак 1981] — Пастернак Б. Переписка с Ольгой Фрейденберг / Под ред. и с коммент. Э. Моссмана. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981.
- (Pasternak B. *Perepiska s Ol'goy Freydenberg* / Ed. and comment. by E. Mossman. New York, 1981.)
- [Пастернак 2000] — Пастернак Б. Пожизненная привязанность: переписка с О.М. Фрейденберг / Сост., вступл. и прим. Е.В. и Е.Б. Пастернак. М.: Арг-Флекс, 2000.
- (Pasternak B. *Pozhiznennaya privyazannost': perepiska s O.M. Freydenberg* / Comp., introd. and notes by E.V. i E.B. Pasternak. Moscow, 2000.)
- [Сандомирская 2013] — Сандомирская И. Блокада в слове. Очерки критической теории и биолингвистики языка. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
- (Sandomirskaya I. *Blokada v slove. Ocherki kriticheskoy teorii i biopolitiki yazyka*. Moscow, 2013.)
- [Троицкий 2017] — Троицкий С.А. Генетический метод О.М. Фрейденберг в исследовании культуры // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2017. № 4 (25). С. 39—60.
- (Troitskiy S.A. *Geneticheskiy metod O.M. Freydenberg v issledovanii kul'tury* // Vestnik RGGU. "Istoriya. Filologiya. Kul'turologiya. Vostokovedenie" Series. 2017. № 4 (25). P. 39—60.)

- [Фрейденберг 1986] — *Фрейденберг О.М.* Будет ли московский Нюрнберг? (из записок 1946—1948) // Синтаксис. Париж. 1986. № 16. С. 149—163.
- (*Freydenberg O.M.* Budet li moskovskiy Nyurnberg? (iz zapisok 1946—1948) // Sintaksis. Paris. 1986. № 16. P. 149—163.)
- [Фрейденберг 1987] — *Фрейденберг О.М.* Осада человека / Публ. К. Невельского // Минувшее: исторический альманах. Paris: Atheneum, 1987. Вып. 3. С. 7—44.
- (*Freydenberg O.M.* Osada cheloveka / Publ. by K. Nevel'skiy // Minuvshee: Historical almanach. Paris, 1987. Iss. 3. P. 7—44.)
- [Фрейденберг 1991] — *Фрейденберг О.М.* Университетские годы / Предисл., публ. и коммент. Н.В. Брагинской // Человек. 1991. № 3. С. 145—156.
- (*Freydenberg O.M.* Universitetskiye gody / Forew., publ. and comment. by N.V. Braginskaya // Chelovek. 1991. № 3. P. 145—156.)
- [Шмитт 2006] — *Шмитт К.* Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса / Пер. с нем. Д.В. Кузницына. СПб.: Владимир Даль, 2006.
- (*Schmitt C.* Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Saint Petesburg, 2006. — In Russ.)
- [Arendt 1994] — *Arendt H.* Dilthey as Philosopher and Historian // Essays in Understanding / Ed. by J. Kohn. New York: Schocken Books, 1994. P. 136—139.
- [Arendt 2007] — *Arendt H.* Remembering Wylan H. Auden // Reflections on Literature and Culture / Ed. and introd. by S.Y.-Ah Gottlieb. Stanford: Stanford University Press, 2007. P. 294—302.
- [Barash 1998] — *Barash J.A.* The Sense of History: On Political Implications of Karl Löwith's Concept of Secularization // History and Theory. 1998. Vol. 37. № 1. P. 69—82.
- [Braginskaya 2016] — *Braginskaya N.* Olga Freidenberg: A Creative Mind Incarcerated // Women Classical Scholars: Unsealing the Fountain from the Renaissance to Jacqueline de Romilly / Ed. by R. Wyles and E. Hall. New York: Oxford University Press, 2016. P. 286—312.
- [McCormick 1994] — *McCormick J.P.* Fear, Technology, and the State: Carl Schmitt, Leo Strauss, and the Revival of Hobbes in Weimar and National Socialist Germany // Political Theory. 1994. Vol. 22. № 4. P. 619—652.
- [Perlina 2002] — *Perlina N.* Ol'ga Freidenberg's Works and Days. Bloomington, Indiana: Slavica, 2002.
- [Sandomirskaya 2010] — *Sandomirskaya I.* A Politeia in Besiegement: Lidia Ginzburg on the Siege of Leningrad as a Political Paradigm // Slavic Review. 2010. Vol. 69. № 2. P. 306—326.
- [Tihanov 1999] — *Tihanov G.* [Review of] Mythopoetic Roots of Literature by Olga Freidenberg, ed. by Nina Braginskaya and Kevin Moss // The Slavonic and East European Review. 1999. Vol. 77. № 1. P. 160—162.
- [Tihanov 2012] — *Tihanov G.* Framing Semantic Paleontology: the 1930s and beyond // Russian Literature. 2012. Vol. 72. Iss. 3—4. P. 361—384.